

## Бог смешал языки

### стихотворения

#### I

Ну, во-первых, ходит *поезд* — в сущности, без передышки, в сущности, без остановки, — в сущности, как заведенный, то есть, во-вторых и в-третьих, то есть, в-третьих и в-четвертых: ходит поезд, поезд, поезд... Но сейчас мы не об этом, но сейчас мы об *окошке*: открывается над нами в небесах одно окошко над железной дорогой, открывается окошко — появляется *кукушка* (неприятнейшая птица, пожилая и больная, с очумелыми очами), чтоб сказать ку-ку и сдохнуть. Но она не успевает ни сказать ку-ку, ни сдохнуть, потому что в это время — в эту самую секунду! — *две серебряные ложки* сталкиваются в пространстве: это, в общем-то, не ложки, а такие получашки — и они одним ударом ставят точку на кукушке и на всех ее ку-ку.

#### II

Впрочем, вот что интересно: если эти получашки ставят точку на кукушке, то они не ставят точки на *огромных шестеренках*, оживленно шестерящих в направлении не длинных, хоть отнюдь и не коротких, *двух шестов*, что устремили острия на *шестигранник*, находящийся в покое (словно патриарх какой-то!). Если же мы вдруг взглянем в этот самый шестигранник, то увидим, что в покое он отнюдь не абсолютном: он смещается невянятно то направо, то налево — и от этого смещения происходят перемены в жизни *плюшевого мишки*, расположенного рядом (молчаливого, тупого — потому что он игрушка). Шестигранник, незаметно наползаючи на мишку, обрекает многократно часть животного на гибель: голова его большая неуклонно попадает под тяжелый *молоток*.

### III

Но с медвежьей головою ничего не происходит, потому что в ней опилки и, конечно, потому что после каждого удара все животное приходит точно в то же положение, что и прежде приходило. Дело же сейчас не в этом, ибо на границе с мишкой *золотая балерина* фуэте тихонько крутит — приводимая в движение головы его толчками. Ей никак не удастся опустить вторую ногу рядом с первой ногою — и она напоминает, стало быть, юлу — не столько обстоятельным вращением, сколько жестяным жужжаньем, совершенно нестерпимым... Но, должно быть, балерине ничего не остается, кроме этого жужжанья, потому что рядом с нею происходят обороты *циркульной пилы*, готовой отхватить вторую ногу этой самой балерины в тот момент, когда плясунья — позабывши про опасность или попросту устало, или попросту беспечно — станет ногу опускать.

### IV

А она не опускает... ах, какая молодчина золотая балерина с жестяным своим жужжаньем! Балерина понимает: от нее сейчас зависит, чтобы *лампа голубая* загоралась и тушилась (ибо поднятой ногою золотая балерина постоянно задевает бриллиантовую кнопку). И пила не дремлет тоже, но вращением приводит в действие *большую лопасть* — делая большую глупость, потому что эта лопасть, словно некая лопата, неустанно подгребает *кузовок один с грибами* — не со свежими грибами, а с пластмассовыми вовсе и погаными к тому же, ибо это мухоморы... Их приклеили к корзинке, а корзинку на резинке привязали к *мертвой кукле*, чьи оранжевые букли наподобье грязной пакли треплются при содроганьях замусоленного тела — до которого нет дела абсолютно никому.

### V

Кроме *бубна* с пестрой лентой (собственно индифферентной ко всему, что происходит, и болтающейся вольно, собственно, куда захочет, собственно, куда угодно — совершенно не вдаваясь ни в какие переключки), потому что только бубен, только полоумный бубен, отвечая на удары замусоленного тела,

держит эту эстафету, как за хвостик кошка мышку...  
Данный бубен с пестрой лентой продолжает передачу  
праздной силы — дальше, дальше... и кому теперь? — *лошадке*,  
то есть даже не лошадке: просто палке, на которой  
все мы, помнится, скакали-никуда-не-прискакали, —  
просто палке с сивой гривой, через час по чайной ложке  
заливающейся ржаньем (ржаньем, стало быть, несчастным,  
но достаточно несчастным и достаточно утробным)  
и пугающей пространство очень резким, очень дробным,  
очень быстрым «иго-го».

## VI

При лошадке есть *повозка* в красно-белую полоску —  
и не то, что при лошадке, а довольно суверенно:  
как бы даже непонятно, почему мелькают спицы  
(вероятно, им не спится или что-то в этом роде).  
А к одной из спиц крепится на тонюсенькую леску  
*змей воздушный*: он, понятно, ошивается все время  
здесь, поблизости, — и, в общем, не желает удаляться,  
что неважно и к тому же в принципе неинтересно...  
Вот *часы* в районе змея — это здорово, конечно:  
на часах четыре стрелки, очень даже расписные,  
что показывают время — время, в сущности, двойное  
(например: пора проснуться и давно пора обедать,  
или: нам пора на службу и пора нам бить баклуши).  
При часах — *литая гиря*, опускаемая мерно  
на *глубокую тарелку* — металлическую, впрочем,  
и под тяжестью гири эта самая тарелка  
начинает оседать.

## VII

Но загадка оседанья разрешается мгновенно:  
под тарелкой *три спирали*, рядом — *три воздушных шара*,  
и при сжатии спиралей происходит надуванье  
емкостей бездонных — паром, кислородом или небом...  
К окончанию этой мощной, этой громкой процедуры  
вся конструкция приходит в беспокойное качанье,  
и — внезапно отделяясь сразу от всего на свете —  
эта шаткая постройка, эта адская машина,  
эта братская могила начинает уплыванье  
по пустому небосклону в направлении Тибета —  
и ликует обитатель: говорили «не поедем»,  
говорили «не потянем», говорили «сил не хватит»,  
говорили «что за глупость это все на самом деле»,  
а смотрите: потянули, а смотрите: сил хватило,  
а смотрите: полетели — и летим уже порядком,  
вот уж миг летим, допустим, вот уж час летим, допустим,  
в направлении Тибета, в направлении Тибета...

## ХОДИТ ДРЕМА ВОЗЛЕ ДОМА

Вот... ходит дрема возле дома: так, помнится, мне пела мама —  
уже не помнится когда... в одни-старинные-года!  
И песенка вокруг летала, пока деревенело тело  
и речкой темною плыло — в края, где, может быть, светло.  
Вот ходит дрема возле дома: тяжелая такая дума  
(пятидесятых ли годов?) и весит тысячу пудов,  
и смотрит невозможно косо, то есть совсем без интереса,  
на дно исчерпанного дня — и все равно не видит дна.  
Она в одеждах полосатых (так точно, из пятидесятых:  
там просто помешались все на клетке и на полосе!)  
идет себе походкой чинной, как на прогулке заключенный,  
без цели, все равно куда: пятидесятые, да-да...  
И время (бремя, племя, стремя) идет за ней, теряя имя,  
шаги считая в полутьме: раз... десять... сто (журавль в уме) —  
идет за ней походкой чинной, как на прогулке заключенный,  
и жметя к бедному жилью, сходя с ума по журавлю...  
Так ходит сторож в теплых ботах — среди складов, жульем забытых,  
обозревая не ему принадлежащее сквозь тьму,  
он ходит просто для порядка, постреливая (правда, редко),  
но выстрелы его немые и, в общем, не тревожат тьмы.  
Ничто не спит, на самом деле: еще полугорят медали  
и полублещут ордена (которым родина цена),  
и полусонные куранты еще роняют комплименты  
эпохе наших славных дел, — как говорит политотдел.  
Долистываются знамены, дочитываются романы,  
с нажимом, но без суеты довинчиваются винты,  
задергиваются завесы, дописываются доносы —  
хоть и небрежно, вполруки, но все ж... цепляются крючки.  
А героические будни и героические бредни  
клюют носами в стороне — для вида, но бодры вполне —  
и не свалить их ни в какую (я никого не упрекаю!)  
ни доводом, ни топором: еще не скоро грянет гром.  
И ходит дрема возле дома — прислушиваясь, нет ли грома  
далеко за каким бугром... (еще не скоро грянет гром),  
принюхиваясь, нет ли дыма — какого-нибудь возле дома,  
но воздух пуст и нелюдим: еще не скоро будет дым.  
И кот, покушав слишком жирно, хоть и мурлыкает мажорно,  
но постоянно начеку: чекист, сжимающий чеку!  
И сквозь опущенные веки два попугайчика, две буки,  
наsupясь, наблюдают тьму... — зачем, а также почему?  
И ходит дрема, ходит дума, дебелия такая дура,  
бубнит, бубнит себе под нос (и все-то, видимо, про нас!) —  
с расширившимися зрачками и утолщенными очками —  
очками, честно говоря, посаженными на нос зря:  
бесплотны, стало быть, виденья — летучи, стало быть, идеи...  
Что без очков, что сквозь очки мы выглядим как дурачки...

... Мы дети, дорогая дрема, и наша жизнь необозрима,  
и наше завтра далеко, и наша пища — молоко,  
мы безопасны и безвинны, и мы уж спим наполовину,  
у нас уже глаза косят, а завтра нам с утра в детсад —  
на сонных санках, по сугробам — к товарищам, чужим и грубым,  
тая от их большой семьи свой клад — «А ну-ка отними!..»  
Мы безопасны и безвинны, и мы уж спим наполовину,  
и тратить ленинский прищур на нас немножко чересчур.  
Но ходит дрема возле дома... и вот ведь не проходит мимо  
нас, малолетних, — Бог прости, не спящих после девяти:  
«Всем спать! Лицом к стене, гаденыш! Чего ты вертишься и стонешь?  
Прожуй печенье! Прожевал — и руки, стало быть, по швам!»  
Она уже почти что дома — железная такая дама  
в телячьей коже (в январе!) и с пистолетом в кобуре,  
она уже к столу уселась, на маму с папой покосилась,  
командует: «Открыть буфет! Дать мне варенья и конфет!»,  
а те — дрожащими руками — не могут справиться с замками,  
и слышен дремы легкий смех: «Вас завтра расстреляют всех!..  
Ну, а пока — в постель». И снова — вокруг ни слова, ни полслова.  
Сплошной отбой. Сплошной бай-бай. И шепчет мама: «Бог с тобой!»

\* \* \*

Воздух жизни непонятной —  
вот и тает... или нет,  
или да — во рту твой мятный,  
твой зеленый леденец.

Это — есть, и это снится  
(снится Вам или другим):  
на пустом окне больницы  
две синицы и снегирь.

Это есть, и это мнятся  
в мире тайны без конца,  
и у тайны привкус мятный,  
зимний привкус леденца.

Никогда не открывая,  
что в душе, что между строк, —  
со стихом летит за вами  
тот зеленый холодок.

Только вспомнишь, как гудело,  
как смеялось все кругом!..  
И всегда не в этом дело —  
и всегда совсем в другом.

\* \* \*

На каком бы языке обратиться к этой птице?  
На каком ни обратись — не ответит, не поймет,  
а возьмет да улетит — и уже не возвратится:  
птицы ветренный народ, очень ветренный народ.

Я хочу поговорить — ни на чем не спотыкаясь,  
на безмозглом языке, на молочном языке:  
слов пятнадцать-двадцать пять — я поплачу и покаюсь,  
и напьюсь, и захлебнусь в этом бурном молоке.

Я хочу поговорить — и не то чтобы о чем-то,  
и не то чтоб о своем, но без всякого стыда,  
я хочу поговорить — быстро, путано, нечетко:  
половина слов внутри — половина где когда.

Ах, кому бы никому: Богу, черту, лексикону,  
свечка, печка, кочерга — все равно, что есть — то есть!  
Я хочу поговорить, только не по телефону...  
Лучше как-нибудь не так.  
Лучше где-нибудь не здесь.

## ОБЕД ИЗ ДЕСЯТИ БЛЮД

Вот как тонкая лодка, как маленький струг сизокрылый  
проплывает по небу... ну, ладно, пускай не по небу —  
проплывает над *нами* тарелка с далекой планеты...  
хорошо, не с далекой планеты, а с *этой* планеты!  
На тарелке стоит Вавилонская башня — ну, ладно,  
*просто* башня стоит на тарелке одна небольшая —  
прихотливая, стало быть, горка такая: из риса,  
плюс чуть-чуть ветчины, овощей и чего-то такого...  
Бог смешал языки — и я больше не помню названий,  
и никто их не помнит (*Вы*, кстати, не помните тоже,  
так что нечего тут Вам особенно и распаляться —  
распыляться на частности: дело ведь, в общем, не в этом!).

Вслед за башней на стол опускается, значит, гербарий:  
это всё лепестки, розоватые с оранжеватым, —  
тонко-тонко нарезаны (просто рукою хирурга! —  
хорошо, не хирурга, а *повара*, если угодно)  
хризантемы, пионы... ну, ладно, пускай, буженина —  
Вам не все ли равно: Вы же прямо сейчас, в это время,  
не едите того, что читаете, — или едите?  
Значит, так: лепестки буженины, бекона, тюльпанов —

их опять можно было б сложить, было б только желанье,  
в хризантемы, пионы, тюльпаны: ведь все обратимо,  
возвратимо на круги своя — хорошо, пусть частично...  
хорошо, не частично, а... *попросту* невозвратимо!

Но в глубоких фиалах... простите: конечно, в пиалах —  
аравийские джинны представлены взорам досужим  
в виде светлых паров или в образах легких курений...  
*да*, бульон... *да*, куриный! Всё в *точности*, как Вы хотите:  
мы сейчас к нему жирными после бекона губами  
припадем — и глотать, и глотать, и давиться, и булькать!  
И проглотим всех джиннов — на что они, в сущности, джинны?  
Пусть сидят в животах и не балуются чудесами:  
их эпоха прошла — и настала Эпоха Бульонов,  
Щей, Борщей и Супов... романтизм, господа, да и только!  
А придет Аладдин за какой-нибудь лампой дурацкой,  
мы ему в тот же миг: не хотите ли, дескать, бульона?

Но потом все равно приплывает огромная рыба —  
золотая такая (не щука... а в общем-то щука) —  
и вращает печальными и голубыми глазами  
как бы в недоуменье: куда же я, дура, попала?  
У нее, этой рыбы, полно всякой дряни с собою:  
от хорогом расписных до палаццо в классическом стиле —  
я уж не говорю о какой-нибудь мелочи вроде  
драгоценных камней или там драгоценных металлов.  
Но на все и про все существует *особая* вилка —  
*специально* для этой огромной причудливой рыбы:  
пара точных движений — и нет ни дворцов, ни палаццо,  
ни камней, ни металлов, а только вот: кожа да кости.

Тут, однако, еще прибывает встревоженный агнец —  
он не знает зачем и глядит, как чужой, на приборы,  
все глядит и глядит, и поистине не понимает,  
что тут можно сказать и к чему вообще говоренье!  
Но пытается, впрочем, сказать — видно, что-то большое,  
что с трудом помещается в этом встревоженном агнце:  
*вот я, стало быть, здесь*, говорит, а потом добавляет:  
*и меня вы сегодня приносите, стало быть, в жертву*, —  
и молчит. А потом заключает: *и правильно, в общем*.  
Он с собой ничего не имеет — лишь пару крылатых  
выражений на случай чего... Но они неуместны —  
и, расправивши крылья, они улетают куда-то.

Начинается плесень: сыры, а к сырам все такое —  
что способно украсить собою продукты распада...  
например, виноградные лозы, чьи крупные слезы  
то зеленага, то голубага, то алага цвета  
проливаются рядом — и, в сущности, прямо на скатерть.  
Впрочем, что же тут плакать, когда уже заплесневело,

когда тиной затянуто чистое озеро жизни —  
и почти что не видно далекого синего неба!  
Говорят: обойдется, пройдет, разложенье — начало...  
я не помню, начало чего, но чего-то другого —  
вероятно, какой-нибудь *новой*, с иголочки, *жизни*.  
Это тоже неплохо. А прежняя жизнь миновала.

Вот ведь слово: *десерт*! Полуявный намек на заслугу —  
перед кем же такое? — и дальше: намек на пустыню,  
на такую пустыню, в которой кричи — не услышат,  
и никто не придет, и уже ничего не случится.  
Все уснули — за взбитыми сливками: сладкие горы,  
что навек погребли под собой очевидное прежде, —  
ах, воздушное месиво, ах, белоснежная лава:  
все тут склеилось, слиплось... а в общем-то, здорово: сладко!  
И забудем-ка мы — на минутку, на часик, на время  
о былом, настоящем и будущем: мы отдыхаем,  
копашась в этой сладости — с полуленивым желаньем  
разыскать в ней хоть что-нибудь, но ничего-то в ней нету.

И захочется дьявольской горечи: адский напиток  
этот черный, как целая Африка, кофе со вздохом —  
и такой глубины, что нырни туда — и не вернешься,  
зачарованный адом: виденьями, грезами, смертью.  
Все танцует в глазах — и мы помним, *что* это за танцы,  
*что* за пляски, но нам все равно: густо пахнет корицей,  
или это цикорий... а в общем, коренья, коренья,  
как оно и должно быть в аду... Вам хотелось иного?  
Так возьмите чуть-чуть шоколада — возьмите украдкой  
грех на душу свою, и покажется горечь другою —  
хоть и горечью, но не такой, не такой уж и страшной:  
здесь ведь тоже, в аду, существуют свои утешенья!

Дальше просто вода — минеральная, значит... источник:  
вот он бьет перед нами, как конь своенравный копытом,  
высекая из сердца все сразу — и самое сердце  
высекая, и Бог с ним... нам как-то теперь не до сердца.  
Это сытость: она безмятежна, как некая святость,  
и непоколебима, и в ней открываются взгляду  
пузырьки: они скачут все выше, и выше, и выше,  
но, не выдержав выси такой, разбиваются прежде,  
чем взлететь... а источник все не иссякает.  
И нелепая трезвость — смешная незваная гостья  
из провинции — ставит манатки у запертой двери,  
поджидая хозяев: они ведь однажды вернуться!..

И теперь уже фрукты — в безумном своем изобилие:  
стол не стол, рай не рай... не терзайся и не разбирайся,  
ешь хоть с этого дерева, хоть вот с того, хоть с другого:  
плод покоя, плод вечности, плод бытия, плод забвенья...



Ничего с нами не было: это все только обманы,  
только шалости духа... конечно же, Вы были правы,  
и обед как обед — в дорогом и пустом ресторане  
на углу Vestergade, по самому высшему рангу...  
дескать, в сердце столицы — в состарившемся, в прединфарктном.

Что касается *этого* дерева... яблони, значит,  
можно есть и с него: все завертится снова, конечно,  
но пугаться не стоит — и это ведь только на время!

\* \* \*

В саду княгини Шаховской  
гуляют сквозняки.  
Но вообще-то там покой  
и кормят птиц с руки,

и только под гору спустись —  
увидишь родники.  
Но главное — что кормят птиц,  
что кормят птиц с руки.

Синичка-душенька, прикинь,  
тепла ль тебе ладонь?  
Мы на ладони держим день —  
и это наша дань.

Княгиня-душенька, прощай  
или еще побудь:  
вот хлеб, вот зернышко, вот шаль,  
вот стих, вот что-нибудь.

Возьми от нашего добра  
немного серебра  
и медных несколько монет  
возьми, а нет так нет!

Никто ни в чем не виноват,  
судить себя не нам.  
Возьми, княгинечка, привет  
минувшим временам.

\* \* \*

И все-то было хорошо тогда-когда... —  
пока еще тогда-когда... хвостом крутило,  
и было детство нам, и не хватились тела,  
и в область памяти мы заходили с тыла,  
а с тыла память коротка и молода.

А на хвосте тогда, когда... висел бубенчик  
и все вызванивал какой-то там гопад,  
и был капризен, переменчив, выкобенчив  
и недоверчив — и, мелодию закончив,  
обычно спрашивал: «Сначала — или как?»»

Еще к хвосту была приделана трещотка,  
прищепка глупая с пурпурным хохолком —  
под ней гудела зачарованно брусчатка,  
и площадь древняя, как детская площадка,  
бурлила дерзким и счастливым языком.

А за трещоткой сразу шла одна жестянка,  
она была очаровательно пуста  
и говорила быстро, путано и тонко —  
хоть речь жестянки не имела ни оттенка,  
ни смысла, но... *какие* общие места!

А за жестянкой на хвосте неслась гирлянда  
из огоньков, сзывавших весь честной народ  
туда, где весело, туда, где многолюдно,  
где очень скоро все пройдет — и пусть, и ладно,  
и хорошо, что очень скоро все пройдет!

А за гирляндою стрелой неслась орава,  
в те дни входившая еще в состав хвоста, —  
она ревела так небесно и дворово,  
что жизнь от этого немислимого рева  
внезапно делалась блаженна и свята.

А в ту ораву вплетена была надежда —  
на что надежда — да забыл уже, на что...  
на золотое, на сыпучее однажды —  
однажды, как-то повторившееся трижды  
и провалившееся в то же решето!

Вот и гадай теперь, не слишком ли мы быстро  
неслись за веком!.. — через площадь, через мост:  
туда, где будущего старенькая люстра  
да очертанья безобразнейшего монстра,  
на много лет опередившего свой хвост.